

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЧТЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВОСПИТАНИИ¹

I

Среди вопросов, волнующих в настоящее время тех, кто не равнодушен к воспитанию, по крайней мере своих детей, вопрос о чтении учащегося юношества представляет собой отнюдь не узкий вопрос педагогической практики или даже теории, но включает в себе вопросы самой напряженной общественной значительности. И если решение его, где бы то ни было, явилось бы решением одной из более или менее серьезных педагогических задач, у нас он становится задачей исторической судьбы русской жизни. Дело в том, что русское общество, по тем неисповедимым судьбам, которыми оно двигалось, пребывая долгие века в невежестве, в конце концов стало обществом по преимуществу читающим, книжным. Наши исторические обстоятельства были таковы, что школ у нас, как известно, издавна почти не было, а когда они явились, то плохие: сначала устарелые, потом наскоро переведенные со всевозможных языков, для большинства почти невнятных. И во всяком случае можно сказать, что ни прочной общественной среды, ни воспитывающего народного быта не было вовсе, а что в этом отношении проявлялось, то или слишком рано, или слишком поздно. В то же время, чем ближе к современности, тем больше обнаруживалась бездна между ростом могущественной европейской державы, какой стала новая Россия, и вялым существованием вытянутой по швам общественной жизни, скудно ограниченной в образовательных средствах и других умственных впечатлениях. Но, как жизнеспособное в высшей степени и полное великих залогов, русское общество, все более развиваясь до уровня такой повышенной умственной жизни, какая свойственна только самым культурным народам со старинной цивилизацией, — в течение последнего века предалось в особенности литературным занятиям, развернуло своеобразную журнальную деятельность и создало одну из замечательных и оригинальных литератур. Литература заменила нам и среднюю школу, и университет, и парламент. Чем менее оставлялось путей для проявления общественной энергии, тем более оно уходило в себя, разгораясь внутри, и тем все более принимая чисто идейный, отвлеченный характер. Таким образом, исторический ход жизни сделал из русского человека то, что у нас называется развитым человеком, интеллигентом, т. е. человеком чисто умственным, книжным, до крайности возбужденным внутренне и без привычки проявляться вовне; наконец, даже с особым, отрицающим все внешние формы, мировоззрением, с известного рода светским аскетизмом, повторявшим старый церковный аскетизм — в новых условиях и формах.

Могли бы возразить, что такой общественный тип вывелся и заменился другим, более жизненным. Но это возражение опровергают сами события. Как 70-е годы, когда впервые сформировался этот тип русского интеллигента,

¹ Речь, произнесенная на годовичном акте Тенишевского училища.

так и история последних лет показали иное. Надежды на «реалистическое мировоззрение», которым гордились тогда и теперь, — как тогда, так и теперь оказываются тщетными; и оно, в противоречие с своими собственными принципами, в своих отношениях к народной жизни отвлеченно, как и все другие наши отношения к окружающей жизни, иногда даже более чем те, которые называют себя прямо идеалистическими. Я имею здесь в виду, разумеется, не их теоретическое определение, но значение для исторической действительности, а в этом смысле жизнеотношение русских развитых людей всех оттенков следует назвать одинаково — идеологическим, или даже проще, литературным.

Не знаю, приходилось ли кому-нибудь из вас, господа, прислушиваться к тем суждениям о жизни и людях, которые произносятся обыкновенно нашей молодежью. Меня лично всегда поражала не наивность, что было бы не удивительно, не юношеская идеалистичность, отсутствие чего было бы ужасно, но, если можно так выразиться, литературность точек зрения, оценок, мнений, иногда самих чувств. Я поясню это таким примером. Было время, когда у нас развился тип байронический, нашедший себе самое полное выражение в Евг<ении> Онегине и Печорине. Уже очень скоро после его появления в самой же русской литературе стали над ним смеяться, да и сами поэты, отметившие его, едва ли имели в виду его идеализацию. И поэзия, и критика указывали, как на основную черту, — на книжность типа, не в том смысле, чтобы авторы создали его по книгам, а потому, что самые характеры образовались на книгах, а не на реальной жизни. То же самое относится и к другому типу того времени, к Ленскому, отчасти и к Татьяне. Их в свое время развенчали — противопоставив тип «мыслящего реалиста». Нам теперь тем более кажется, что эти явления давно миновавшие, а между тем, в существе, они дожили до наших дней, изменив только содержание и форму. Пушкинская Татьяна, тургеневская Лиза, Елена, Ася, гончаровская Вера, даже толстовская Наташа и сейчас для молодых девушек имеют такое же обаяние, как для Татьяны ее французские и английские героини; а для юношей если Онегины и Печорины утратили свое жизненное значение, за утратой всех обуславливающих причин, то Базаров, Марк Волохов, Карамазовы, Раскольников, в последнее время — проходимцы или борцы с мещанством Горького, их характеры, их идеи, их образ действия, не говоря уже о способе их выражения, обуславливают то литературное отношение к жизни, на которое я указываю. Наблюдательному человеку легко заметить, что начитанный юноша дает на то или иное явление жизни не собственную, свойственную именно ему, психологическую реакцию, а отмерив ее предварительно меркой излюбленных героев, ставя их на свое место, каждый раз спрашивая себя, как бы они реагировали в данном случае. Выражение Пушкина, первого создателя таких книжных типов, что «любви нас не Природа учит», а первый прочитанный «роман», не только остается в силе и до сих пор, но, сообразно расширившимся запросам и интересам, приложимо не к одной любви, а и к другим душевным переживаниям.

Что же в результате?

Непосредственное чувство жизни утрачивается, человек обезличивается и мельчает. Книги подчиняют себе и не дают самостоятельно развиваться личности.

II

Вопрос, что читать, с которым родители обращаются к школе или к педагогической литературе, заключает в себе, собственно, уже готовое признание безусловной целесообразности не только чтения, но и многочтения. Принципиальная сторона дела не смущает нас.

Таких детей, обеспеченных и интеллигентных классов, которые бы ничего не читали, очень мало, большинство читает всякий вздор, под вернувшийся под руку, не различая подлинной литературы от поддельной или ремесленной, писателей больших от слабых. Многочтение у нас ставится вообще в заслугу мальчику. «Это такой развитой мальчик, он столько читал...» На вопрос, обращенный к такому ученику, что он читал, в ответ мелькают имена большинства писателей, не только русских, но и иностранных, иногда несколько популярно-научных статей. Очень часто все эти Пушкины, Тургеневы, Гоголи, Толстые, Диккенсы, наряду с Немировичем-Данченко, Сенкевичем, Всеволодом Соловьевым, в последнее время — Горьким, Кропоткиным или Герценом, и еще такими именами, о которых знают, кроме самих учеников, только издатели их, читаются лет с 10 или даже 9 — тогда к 13–14 годам они действительно могут быть прочитаны; но нередко чтение их начато не больше как за год до предложенного вопроса. В таком случае ясно, что это количество страниц (ученик часто отвечает — всего Тургенева, всего Диккенса, всего Салиаса), все эти томы не могли быть прочитаны, а только просмотрены, проглочены известным, я думаю, знакомым многим из вас, слывших в свое время развитыми мальчиками и девочками, — способом, когда в романах пропускаются или слегка просматриваются так называемые «описания» и быстро прочитываются «разговоры» (напечатанные короткими строчками). Надо согласиться, что такое чтение ни с какой точки зрения не представляет ценности. Нечего и доказывать вред этого поверхностного скольжения внимания едва ли не по заголовкам. Если говорить о воспитательной пользе чтения, то может идти речь только о чтении внимательном, вдумчивом, а читая вдумчиво, много не начитаешь. Многочтение же никоим образом не может являться показателем общего развития. Как постепенно и все увереннее расстаются с ложной мыслью, что спасение в многопредметности и в обширности курсов, так пора вместе с тем перестать ставить многочтение условием общего развития.

Под влиянием господствующей в настоящее время религии прогресса (очень узко по большей части понимаемого) мы склонны думать, что мерки и оценки настоящего времени всегда выше прежних. Без всякого сомнения, это большое заблуждение, и люди по пути своего исторического прогресса растеривают много ценных культурных благ, не всегда вознаграждая потом

приобретением новых. Так и в отношении к чтению. В старину тип читателя был начетчик, под которым едва ли основательно представляют себе человека, много раз перечитавшего одну или несколько книг, оказавшихся у него в руках, выучившего их даже почти наизусть, но не понимавшего их смысла. Последнее едва ли вполне верно. Недостаток образования, разумеется, мог нередко выражаться на несколько внешнем усвоении содержания, но основная черта, однако, в типе начетчика вовсе не эта отрицательная, но положительная и утраченная для читателя наших дней, — это любовь к книге, любовь, в которой сказался бессознательный инстинкт культуры. Неразвитый человек, знающий только грамоту, настолько был проникнут жаждой духовных впечатлений, что выучил наизусть чуть ли не всю книгу. Мы гордимся своей современностью, потому что наша эпоха — время всеобщей образованности, и мы вправе этим гордиться, однако в любви к книге старый начетчик был выше нас. У него не было много книг, он не мог прочесть всего Пушкина, всего Тургенева и т. д., но он вчитывался в те две-три, а то и одну книгу, которая у него была. Он уважал и любил ее, он был сосредоточен на ней одной. Это было достойное отношение к книге. Притом не надо забывать, что для него за книгой не стояла писательская личность, его интересовали, как человека еще грубого, сюжет, идеи и выражения. Мы же, утонченные до того, что способны ощутить за книгой личность ее автора, не уважая книги, не уважаем личности писателя.

Развить прежде всего такое отношение к книге как к одному из живых проявлений культурной жизни, к ее стилю как проявлению живой красоты человеческого слова, воскрешая таким образом в современном человеке то, что было ценно в древнем читателе, — это значит сделать книгу живой, не отвлеченной, не мертвой. Но это еще не все! Современный человек способен к большему — книга для него больше, чем стиль, сюжет и идеи. Приучить к чтению как к акту общения с писателем, пробудить ощущение этой живой связи с его личностью — это значит, в сущности, пробудить чувство любви к писателю.

Поллюбить Толстого, полюбить Шекспира — как живых людей, со всем богатством их индивидуальности, со всем чувством красоты или правды, свойственным им, — вот настоящий педагогический результат, потому что это общение с носителями культурной мысли есть действительное приобретение для личности читателя. Вдумчивое чтение литературного произведения в наше время есть всегда акт общения между читателем и писателем. Личность автора невидимо с нами, она стоит за каждым написанным им словом, за каждым оттенком, приданным им тому или другому слову, за каждым особым, ему только свойственным течением речи. Его настроения, его идеи, его чувство красоты, или добра, или правды присваиваются во время чтения читателю.

Это приобщение личности писателя и придает огромное общественно-педагогическое значение литературе, не как абстрактная работа мысли, но как конкретный жизненный фактор. Общение с полной определенностью, ценного в том или ином отношении душевного содержания личностью, присвоение себе хотя бы на время, хотя бы в воображении этого содержания не может не

оставить впечатления на того, кто к такому впечатлению уже в возможности готов и по своим психологическим свойствам способен. Внутренне пережить хотя полчаса то, что переживала одна из великих индивидуальностей, хотя на полчаса стать подобным им — это значит самому подняться, лично вырасти с помощью чужой личной силы. Читая, мы тянемся к этим великим единицам, и они вводят нас в круг своих обаятельных и достойных человека интересов и страстей, преобразуя нас своим страданием и счастьем.

Вот живая культурная ценность литературного чтения для человека, способного воспринять читаемое. Поэтому только что сказанное может относиться к возрасту довольно позднему. Таким образом, перед нами, естественно, стоит вопрос, доступны ли эти интересы, эти восприятия, эти страдания и счастье больших вдохновенных умов мальчику или девочке среднего школьного возраста? Конечно, доступны лишь отчасти, не все, порою становятся доступны, искусственно возбуждая огромной силой поэтического одушевления те чувства, которые, может быть, еще не родились сами по себе, не выношены в душе.

III

Перед нами труднейшая задача, которую решают на практике слишком небрежно, не придавая того значения, какое она имеет, — вопрос о том, желательно ли, чтобы юноши рано начинали жить литературой взрослого человека? И как установить время, когда уже желательно или допустимо? Я говорю, это труднейшая задача воспитания, при решении которой и обнаруживается весь сложный характер современного педагогического дела как одного из проявлений до крайности осложнившихся жизненных отношений. Так и в данном случае. Если эта, быть может самая важная из педагогических проблем, не просто решается на практике теми пределами возраста, которые при счастливых нормальных условиях легко устанавливаются физиологическими симптомами, то для менее счастливых, зато гораздо более частых случаев никакими сколько-нибудь определенными указаниями общего характера она не покроеется, более того — всякие общие указания оказались бы здесь сухой и бесполезной доктриной, которыми так изобиловала старая педагогическая литература, отпугивая общество своим ригоризмом от горячего интереса к ней. Всякое воспитание, если оно задается не внешними целями, но имеет в виду развитие личности, должно быть индивидуализировано — насколько возможно — гибче, применительнее. И если в данном вопросе по отношению к одним следует принять метод охранения, изоляции от ранних сильных и острых влияний, то по отношению к другим — метод «прививки яда», по меткому выражению одного из критиков Тургенева, коснувшегося этой темы в своем анализе рассказа «Фауст», действительно очень интересного с этой стороны. Содержание его, как известно, заключается как раз в драме, разыгравшейся в жизни молодой женщины, с сильными и целомудренно-сдержанными страстями, которую рано разгадала мать и воспитала как бы замораживая ее, строго и заботливо

оберегая от всех возбуждающих впечатлений, в частности и литературных. Она вышла замуж и стала матерью, ее жизнь текла покойно и счастливо до первого столкновения с тем, от чего ее так охраняла мать. Молодое существо гибнет от вспыхнувшей в ней с неожиданной силой страсти к тому, кто одним чтением Фауста ввел ее в мир мятежных человеческих страстей. Мать поняла дочь, но приняла ложное педагогическое решение. Сложная, глубокая натура девушки требовала «прививки яда», а не изоляции.

Но, как бы то ни было, в каждом отдельном случае новая литература, самым содержанием своим, ставит перед современным воспитателем эту трудно разрешимую задачу, требующую большой психологической наблюдательности и педагогической чуткости, задачу, неизвестную ни древности, ни средним векам, ни запрошлomu еще веку. Она заключается именно в том, что вся литература нового времени, естественно наиболее привлекающая к себе молодые умы, порождена смятенным духом XIX века, самое характерное проявление которого — пессимизм. Древняя литература знала пессимизм, но этот пессимизм, открывая в мире присутствие враждебных и неодолимых для человека сил, указывал на благоразумное пользование жизнью как на спасение от них, и самый скептицизм его не переходил в отчаяние, оставаясь или игрой, или работой критического сознания. Если средние века знали пессимизм церковный, то это было отрицание здешнего мира во имя бесспорного для сознания эпохи бытия мира иного, призывавшее человека к полной покорности, в надежде на спасение от зла этого мира, под угрозой мучений в том мире, уже бесконечных. Все это было иногда светло, иногда чрезвычайно мрачно, однако вполне определено. Но тот мятежный дух, который сказался в новой литературе, порожденный идеей беспредельной свободы личности, ни во что не верит и ничем не удовлетворяется. Это дух ненасытный, вечно ищущий, и, чем ближе к нашему времени, — тем он становится беспокойнее и мучительнее. Если XV–XVI века родили Микель-Анджело, Реформацию, Шекспира, XVII — Декарта, Спинозу, XVIII — Вольтера, Руссо, Канта, Гете, то XIX — Байрона, Шопенгауера, Ницше, Толстого, Достоевского и многих других. Изолировать от веяния этого ветра невозможно, и раз неизбежно таков дух времени, неизбежно придется жить в такой атмосфере, то нужно так или иначе считаться с ним. Положение воспитателя оказывается необыкновенно трудным. Как сын своего времени, он сам в существе таков же, как все, но как воспитатель — он не вправе предоставить влияниям времени своего воспитанника только потому, что эти влияния современны. Перед ним не может не стоять задача нравственной ответственности, о которой говорил один из самых чутких наших писателей. Вспомните благородную отповедь поэта на нападки журналиста в бездеятельности у Лермонтова.

Поэт отказывается печатать то, в чем сказались «язвы старых ран», «соблазнительную повесть сокрытых дел и тайных дум, картины хладные разврата», воспоминания о том, что погибло «в омуте страстей».

Неприготовленному взору
Я не решусь показать...
К чему?..
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю...

Поэт отказывается от самого дорогого для каждого писателя — от славы, только бы написанное им не нашло читателей в тех, чье сердце слабо, или в ребенке, еще не искушенном во зле. Это сознание ответственности писателя, так впечатлительно пережитое и переданное великим поэтом и так мало сознаваемое нашими современниками, должно жить в педагогической совести еще горячее, чем у самого писателя, и стоять перед ней как неотступный вопрос при выборе чтения. Приобщить юношу к тем эмоциям, которые в нем еще не пробудились, которые для него преждевременны и заведомо непосильны, есть такое же преступление, как преждевременное приобщение юноши к физиологической жизни взрослого человека во всех ее проявлениях. Но по-вторим, что, с другой стороны, бесплодны будут усилия и такого воспитателя, который, исходя из соображений идеальной нравственной чистоты и умственного равновесия, — захотел бы изолировать, во что-бы то ни стало, своего воспитанника от впечатлений возбужденного и беспокойного духа века. Это было бы повторением ошибки педагогов XVIII в., строивших абстрактные положения во имя абстрактного идеала в твердой уверенности, что люди по природе все одинаковы и притом одинаково добродетельны. К счастью, ни то, ни другое не верно, хотя с тех пор, как было создано противоположное, воспитание доставляет немало хлопот воспитателям. Легко было воспитание тогда, когда целью ставили, не считаясь с личностью воспитываемого, приготовить в педагогической мастерской спартанского гражданина или бенедиктинского монаха, но наше время ставит иные, сложнейшие задачи — задачи раскрытия всех сил, присущих данной личности, и даже пробуждение таких, какие мы признаем по опыту и разумению необходимым развить применительно к условиям всемирной культуры и национального быта. Сложные задачи требуют и сложных путей их решения. Если задачей является индивидуально-общественное воспитание, принятое во всем многообразии этих понятий, так и сложность решения этой задачи содержится в самом принципе решения: индивидуализации воспитания в условиях общей культуры и данной среды. Конкретно по отношению к чтению это означает, что русские юноши должны читать прежде всего своих писателей, но не всегда могут читать то же самое. Одному можно усиленно указать на Тургенева, другому на Толстого и пр.

Бесспорное общее соображение, с которым нельзя не считаться в вопросе о чтении, это уже упомянутое соображение о возрасте. Только с возраста, соответствующего средним классам учебного заведения, может идти речь о литературном чтении в только что указанном мною значении. Другой вопрос, как относиться к специально-детской беллетристике, литературе для юношества. Эта литература, без всякого сомнения, не только не удовлетворяет, по большей части, настоящим литературным требованиям, но представляет собой и поддельный продукт, не в том лишь смысле, в каком является поддельной всякая литература для легкого чтения, как ремесленное изделие взамен подлинного художественного произведения, но поддельной потому, что автор книги для детей младшего или старшего возраста в целях педагогического воздействия (соображение в таком виде вовсе чуждое настоящего художника, как узкое и преднамеренное) пользуется средствами художественной литературы и упраздняет тем самым жизненное значение слова как органического проявления душевного переживания писателя. Потому-то так низок, по большей части, литературный уровень этих педагогических изделий. И кого, в самом деле, из эстетически развитых людей не возмущали в этом отношении сочинения Майн-Рида или Жюль-Верна? Разумеется, по литературному качеству они равны лубочным романам и всякой рыночной беллетристике, и чтение их с той точки зрения, с которой оно является приобщением читателя личности писателя, не может, понятно, иметь никакого значения. Душевное содержание таких писателей ничтожно, форма выражения — ремесленная, культурно- педагогическое влияние поверхностно.

Что же, значит, отбросить их как материал негодный? Отказаться в принципе от специальной литературы для юношества? Это было бы простое, но едва ли верное решение задачи. Прежде, чем отречься от подобного рода литературы, как это склонны делать многие из наших педагогов, обратим внимание на то, какой юношеской потребности она отвечает.

Ведь выбрасывая ее, мы тем самым обязуемся удовлетворить иным образом вызвавшую ее потребность. А потребность эта, положительно, есть, и обусловлена как общей психологией молодой души, так, в частности, и условиями нашей общественной жизни. Нечего обманывать себя, русская действительность бедна впечатлениями сколько-нибудь яркими и возбуждающими. Под влиянием ли неблагоприятных естественных или исторических причин, давно замечено, что в нашей жизни мало живописности, основанной на смене резких контрастов, на громадности и изяществе форм, мало драматического развития событий, экспансивности чувств, игры страстей. В раскинутых на огромном пространстве городах, скупо снабженных культурными благами, в деревнях, лишенных их вовсе, наша жизнь шла, надо признаться, до сих пор сонно и вяло. Наша история отличалась стихийными взрывами чувств, но не развитием идей или событий. Наиболее романтические из наших поэтов рвались всегда в напряженную и

красочную Западную Европу или до крайности идеализировали на родине то, что могло дать для идеализации какой-нибудь повод, например, стихийную ее силу или великую ее тишину, как бы предчувствие тайны или всемирного призвания в будущем.

Как бы то ни было, пришел или не пришел наш исторический час, или не суждено ему прийти вовсе — психология молодой души остается в существе та же. Это — жажда сильных жизненных впечатлений, потребность ярких красок, игры событий, выступления на историческое поприще больших одаренных личностей. Это — потребность, присущая человеческому духу в его основе, вообще, но молодой душе она свойственна по преимуществу. Она может быть впоследствии заглушена, забита, она может развиваться и в фаустовскую, и в прометеевскую жажду, она может сказаться с течением лет в иных, более сдержанных формах, но отнять у людей эту жажду, педагогу не считаться с нею — это значит быть бездушным доктринером, для которого самая жизнь лишена конкретного содержания и непосредственного интереса.

Не этой ли потребности в известной степени, хотя бы и грубо, удовлетворяет литература для легкого чтения; в раннем же возрасте такие сочинения, как романы Майн-Рида, Жюль Верна и т. п.? Я думаю, что это именно так, что мы имеем здесь дело с той же психологией пушкинской Татьяны, осужденной на гибель в провинциальной глуши и создавшей себе из романов иной мир, непохожий на скучную обыденность. Есть потребность в ярких впечатлениях жизни, в героизме, в необыкновенном, поражающем. Жизнь не дает их — они заменяются беллетристикой. Если она литературно ничтожна, если она портит вкус к изящному и лишает чтение его серьезного значения, то — в условиях по крайней мере нашей действительности — она заменяет недостающие элементы самой жизни. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в какую бы энергичную борьбу ни вступил воспитатель с этой поддельной литературой, ее читатель не уступит ему, пока потребность, удовлетворяемая ею, не найдет себе удовлетворения в чем-нибудь для него равноценном. Уже в настоящее время, когда русская жизнь стала давать больше впечатлений, русское юношество порывисто бросилось на них. Заседания Государственной Думы или стачки рабочих становятся в значительной мере на место Майн-Рида или «Петербургских трущоб». Если мы хотим вступить в борьбу с исключительным влиянием и такого рода впечатлений, мы должны противопоставить им в самой жизни или в литературе что-либо отвечающее той же потребности, но не бороться с ней самой, с этим проявлением неизбежной и законной душевной жажды.

Здесь, кстати, будет уместно коснуться только что задетого мною вопроса, жгучий характер которого, правда, в последние дни несколько ослабел. Я имею в виду поразительный успех брошюрной литературы политического содержания и распространившееся чтение газет. Что касается до крайности возбужденного интереса к совершающимся на наших глазах политическим событиям, то, с точки зрения подъема гражданского чувства, он должен быть, разумеется, поддержан со всей силой педагогического влияния, но он не может быть предоставлен своему собственному течению, как склонны

это допускать некоторые в увлечении подъемом гражданского инстинкта. Как всякий преждевременно пробудившийся инстинкт, и гражданский — надлежит до времени ввести внутрь сознания и там дать ему развиваться и окрепнуть. Самая повышенность этого инстинкта в раннем возрасте есть, без всякого сомнения, показатель искусственно вызванного событиями наступления политической зрелости. Радоваться этой преждевременности нечего. Не бороться с таким же преждевременным удовлетворением этого инстинкта, грозящим ослаблением нервной энергии, есть преступление и легкомыслие. Не противиться этому злу может только тот, кто забывает об ответственности перед нацией за современное поколение, которым история ее не кончается. Его энергией создается не только настоящее, но и будущее. Переутомление нации от преждевременного расходования социальной силы есть такая же реальная возможность, как переутомление отдельного человека. Причина реакции не во внешних условиях, а всегда в самом обществе. Сегодня удовлетворение едва вспыхнувшего, еще не пустившего корней в сознании общественного инстинкта, завтра истощение сил, падение настроения и веры. Чем более современный русский воспитатель желает своей родине неутомимого и непрерывного прогресса, тем с большим напряжением ему приходится вступать в борьбу с ранним удовлетворением раньше срока вспыхнувшего инстинкта, не желающего терпеливо пережить период воздержания и внутреннего роста. Если нравственный долг его своевременно пробудит общественную совесть и ее деятельный порыв, то развитой гражданский разум должен указать ему на необходимость до времени сдержаться не только от выступления на политическом поприще, в целях сохранения национальной энергии, но и от исключительно- го увлечения вопросами политическими, так как только всестороннее развитие всех личных сил, широкая культурная отзывчивость — истинно жизнеспособны и плодотворны в жизни каждой отдельной нации и целого человечества...

Нельзя забывать, что область политических вопросов — есть область практического приложения общих идеалов. Чем культурно требовательнее общество, чем глубже и многостороннее его идеализм, тем напряженнее говорят его общественные инстинкты. В то же время практическое приложение требует и знания реальных отношений, и развитого чувства конкретной жизни.

Надо заметить притом, что этот, столь возбужденный в наши дни, интерес к политическим событиям и литературе кроет под собой зачастую не психологию пробудившегося гражданского чувства, но как раз только что упомянутую психологию потребности в впечатлениях, т. е. собственно видоизмененного увлечения Майн-Ридом. Однако отношение воспитателя в данном случае должно быть иное. Если, предоставляя посредственной литературе удовлетворять потребность в впечатлениях, мы грешим перед литературой как перед одной из культурных ценностей (грех, в сущности, не особенно тяжелый и сравнительно легко искупаемый), то, предоставляя политическим явлениям удовлетворять эту потребность, мы развращаем тот самый общественный инстинкт, во имя которого интерес и поддерживается,

так как приучаем, таким образом, относиться к политической жизни легкомысленно. Большинству юношей другое, серьезное, отношение, основанное на общем мировоззрении и сознательной вере в будущее своей нации, естественно, еще недоступно, но возможность относиться поверхностно к известным рода явлениям легко может стать привычкой сознания — едва ли желательный результат воспитания для страны, наконец с таким трудом выходящей на простор и нуждающейся в крепких и осмысленных верованиях. Но и более одаренному меньшинству не может быть ни в каком случае доступна сложность входящих в политические вопросы теоретических и практических идей и отношений. Если большинство, бросившееся на брошюры и газеты, выйдет гражданским ничтожеством, меньшинство, быть может, и <выйдет> высокими, но отвлеченными и узкими идеологами, порождаемыми русской жизнью с тех пор, как она стала сознательной, и так жалко бессильными перед лицом реальной жизни. Отвлеченное и узкое развитие — великое наше общественное зло, с указания на которое я и начал свою речь.

VI

Из всех потребностей человеческой личности наше общество выделяет научные, политические и моральные. К остальным относится безучастно, несмотря на красноречивые проявления религиозных исканий в нашей жизни и литературе, несмотря на редкую артистическую чуткость немногих представителей нашего искусства, стихийную поэтическую силу нашей народной песни. Это пренебрежение к таким двум культурным факторам есть, конечно, явление совершенно временное, развившееся в последние 50 лет под влиянием лихорадочной внутри и сдавленной извне цивилизационной работы. Народ, способный к культуре, не может быть равнодушен к ним.

Не касаясь сейчас одного из затронутых факторов, как не имеющего близкого отношения к поднятому мною вопросу, укажу на другой, тесно связанный с литературой, именно на искусство, которое наша публицистика одно время, во имя господствующего мировоззрения, энергично развенчивала, а затем до последних дней глухо замалчивала. Так в младенческом сознании вступившего в элементарную цивилизационную работу общества была подорвана идея одного из самых жизненных и прекрасных культурных благ. Кроме учения, наше юношество знает только чтение; в наше время, после долгого реакционного перерыва, оно без оглядки сузило круг этого чтения пределами политических вопросов. Лишенное чувства конкретной жизни, оно холодно к религиозным исканиям, оно чуждо искусства, этого бесполезного, как сама жизнь, и великого, как сама жизнь, культурного достояния.

Молодежь, интеллигентно настроенная, много читает. В самом чтении, если только это не легкое чтение, — замена недостающих впечатлений действительной жизни, молодежь всегда ищет удовлетворения моральных или политических запросов, но не эстетических. Искусства она, можно сказать, не знает вовсе. Искусство не составляет обихода русского человека — один из

показателей его односторонне рассудочного развития. У него развился жгучий политический инстинкт, у него есть великая литература, нередко несовершенная по форме, но нередко и гениальная по содержанию, — искусства нет. Школа его состоит из учения и чтения, науки и частью литературы, то заменяющей реальную жизнь, то питающей социальный идеализм. Любимые и популярнейшие писатели те, в которых сильнее всего говорит этот идеализм, да у нас и немного таких, которые были бы вовсе чужды его.

А между тем мы нуждаемся более, чем какой-нибудь другой народ, именно в искусстве. Не в том безжизненном и бессодержательном искусстве буржуазного обывателя, ограниченном в самом себе и переходящем в бесплодную вычурность и манерность, но в том, которое, оставаясь верным своему безотносительному от раздражений текущей жизни служению красоте, несет ее в жизнь как возбуждающий стимул, как ее украшение и освящение, открывая в жизни бесспорное благо и радость, независимо от требований социальной и личной морали, — то искусство, которое было порождено в V веке до Р. Хр. свободолюбивым городом Афинами, вольными итальянскими республиками XV века и к которому зовут теперь лучшие умы благороднейшего и свободнейшего из современных народов — английского. Искусство не рассудочно, как наука, оно, по преимуществу, из всех культурных благ жизненно, потому что оно есть проявление самой любви к жизни и ее формам и выражение самой творческой из способностей человека — фантазии. Оно не теряет своей дорогой цены, становясь прикладным. Требуя всегда личного творчества или личного вкуса, повышая деятельность не одного ума, но и непосредственного живого чувства, оно в высшей степени способствует, таким образом, развитию личности. Кроме пробуждения образовательных стремлений, кроме развития общественного сознания, внесение в воспитание и искусства, в дополнение к литературе, — такова неотложная задача современной школы, если она хочет быть школой не только книжной, рассудочной, какой она была до сих пор, но истинно прогрессивной, в смысле выработки потребности в широкой и многосторонней культуре. Нельзя сомневаться, что с развитием у нас этой потребности и самые образовательные инстинкты станут напряженнее и углубятся. Никогда еще не было в истории человечества примеров, чтобы подъем интереса к искусству понижал научные интересы. Как раз наоборот: то возбуждение сознания, которым сопровождается любовь к прекрасному как к безотносительному, самоценному культурному благу, всегда возбуждало и теоретическую мысль как проявление интереса также безотносительного и самоценного.

Способное к напряженной политической жизни и лишенное ее в течение долгих веков, русское общество все еще болезненно боится всего, что может, как ему кажется, хоть несколько ослабить его политическую страсть. Но у жизнеспособного народа не может ослабеть эта страсть строительства жизни. Пока он жив, она будет гореть в нем. Напротив, и у великого народа его развитие может принять одностороннее направление.

Не имея возможности сейчас касаться вопроса об искусстве в народной школе, вопроса, еще не поставленного у нас на очередь, скажу только, что его роль и там будет только прогрессивной, так как, повышая культурную требовательность, оно тем самым поддержит напряженность и обеспечит неутомимость социального движения. Для русского же юношества обеспеченных классов искусство, расширяя круг жизненных впечатлений новыми, чистыми и некнижными источниками, научит воспринимать явления литературы не так узко и сухо, не только со стороны ее общественного или морального содержания, — научит ценить книгу как художественное произведение и писателя, по аналогии с художником, как творца новых явлений. И здесь — в этой, уже культурной, среде, искусство еще более обострит и повысит ее культурную требовательность. Наконец, не забудем интересов и нашей первой национальной учительницы — русской литературы, переживающей сейчас свой кризис. Трудно отрицать, что ее заметное качественное понижение обусловлено понижением вкуса в обществе. Повысится требование читателя — подымется и литература. Наша педагогическая мысль совершила крупное завоевание, она заменила часть книжного учения практическими занятиями по естествознанию, она сделала этим школу жизненнее, однако ничуть не победила этим и не могла победить ее рационалистического характера, так как естествознание, как бы оно практически ни ставилось, имеет в виду, главным образом, воспитать на конкретном материале метод индуктивного научного мышления — работа чисто интеллектуальная. Естествознание сближает с жизнью, но оно не задается и не может задаваться целью развить остроту и чуткость непосредственного восприятия жизни, а только такое восприятие ее и составляет сущность индивидуального отношения.

Отворим же двери эстетическому воспитанию во имя развития живого чувства жизни, во имя осуществления идеала всесторонней человеческой личности в нашем обществе, во имя его действительного европейского прогресса.